

Галине Ивановой, верному другу

Оттого молодец с лошади свалился, что мать криво посадила.

Пословица

Пролог

1

Когда-то стояла здесь угрюмая, сумеречная тайга, сквозь которую с трудом пробивалась безымянная речка. Однажды пришли на ее берега люди, разложили костер. Пламя лизало сухой валежник, отсвечивало на черных от времени, липких от проступавшей смолы стволах деревьев, отражалось в глубине спокойных вод.

На другой день начали валить деревья и строить жилище.

Трудно сказать, почему облюбовали они эти необитаемые места. То ли понравился им могучий каменный утес, возвышавшийся над тайгой неподалеку, на противоположной стороне реки, то ли сама река. А может, решили они поселиться тут потому, что не было сюда путей-дорог, не досягал ничей глаз, не доставала ничья рука.

Так или примерно так возникали в вековечной сибирской глухомани заимки, раскольничьи скиты, всякие поселения. И вот стояло уже к зиме на берегу несколько торопливо и кособоко срубленных домишек, воровато курившихся по утрам желтым дымком от сосновых и кедровых сучьев.

Всю зиму люди продолжали валить деревья и таскать их к берегу на веревках по оледенелым накатам. И к следующей осени количество домов утроилось.

Деревне еще и названия не было, а реку наименовали Светлихой — наверное, за чистые и прозрачные,

6 как сосновая смолка, воды, за тихий нрав, за приветливо приютившие людей берега.

Правда, весной река ревела и пенилась, грозя выплеснуться из берегов. Неслись по ней могучие деревья, вывороченные где-то из мягкого грунта. Крутились в водоворотах, с треском разламывались об утес. Но уже к концу апреля вода спадала, быстро очищалась от мути, щепок и прочего мусора, виновато плескалась под ноги расхаживающих по берегу людей.

А потом, много лет спустя, случился страшный пожар. Он начисто выжег тайгу по всему левобережью, обуглил землю на много верст, оплавил и закоптил каменные глыбы утеса. Гореть бы жирным смольем и деревне, если бы не Светлиха.

После пожара люди попробовали было селиться и на левой стороне Светлихи, но воды смирной летом реки за три-четыре весны размыли оголенный берег и в половодье затапливали все левобережье, до самого утеса. Люди перевезли на правый берег свои домишки. На образовавшихся громадных заливных лугах каждое лето волновалось теперь буйное разнотравье — коси не хочу!

С тех времен и называется деревня Зеленый Дол. Может быть, до пожара она имела какое-то другое название, но история его не сохранила.

Деревня хотя и медленно, но разрасталась из года в год только по правому берегу. Он был немного холмистый, домишки лепились по отлогим залесенным склонам. Кое-где над домами, как безмолвные часовые, стояли даже кряжистые кедры. Теперь в селе было несколько улиц, тянувшихся вдоль речки, и десятка полтора переулков, нырявших между холмами.

Чем дальше к окраине, тем гуще становились заросли. Однако настоящая тайга начиналась только за Чертовым ущельем. Зубчатой стеной она подпирала самое небо.

Чертово ущелье находилось километрах в двух от деревни. Это была глубокая, саженой в пятнадцать, впа-

дина с почти отвесными каменистыми краями. Бока ущелья зарастали крушиной, вереском и мелким кустарником. На дне его, неумолчно позванивая, холодно кипел, брызгая белой пеной, ручей, питавшийся подземными ключами, что били из-под обомшелых, насквозь прозеленевших камней. Спуститься в ущелье можно было только в двух-трех местах.

Каждому, кто заглядывал в ущелье летом, оно дышало в лицо холодным черным сумраком. Очевидно, поэтому дикое ущелье и называли Чертовым.

Каждое утро, когда еще не было видно солнца, гранитная верхушка утеса над Светлихой уже окрашивалась в красно-розовый цвет. По мере того как где-то поднималось солнце, краска с вершины утеса стекала все ниже и ниже. Розовый цвет превращался в желтоватый, блекнул прямо на глазах. Казалось, вот-вот камни совсем потухнут. Но через несколько минут бледно-желтая краска начинала густеть, принимала медноватый оттенок. И вот уже весь утес горел золотом, горел столь ослепительно, что на него больно становилось смотреть. Каждый гранитный кристаллик ярко отражал лучи невидимого еще людям солнца, эти лучи сливались в один огромный огненный, полыхающий столб.

Утес потухал, когда показывалось над землей солнце. Некоторое время поблескивали еще, переливались, как живые, белые искорки по его каменному срезу, висевшему над Светлихой, но скоро и они гасли.

Люди издавна заметили эту игру света и окрестили утес Злат-камнем.

А однажды пустил кто-то слух: неспроста называется так утес — под каменными глыбами лежит несметное количество золота в самородках и россыпью.

Слух загудел по Зеленому Долу, как памятный таежный пожар, раздуваемый ураганом. Люди кинулись через Светлиху на лодках и вплавь, долбили ломami брызжащий железными осколками гранит, рыли лопатами, а то и руками мокрый, тяжелый, как свинцовая дробь,

8 песок. Облазили все скалы сверху донизу, изогнули ломы, истерли лопаты, до костей спустили мясо на ладонях, но никакого золота не нашли.

Со временем люди утихомирились, перестали долбить камни и рыть песок. Но молва о богатствах, скрытых под утесом, не исчезла. Она жила среди народа и была как летнее марево: вот дрожит оно под ближним пригорком, а подойти — ничего здесь нет, оно струится над следующим. И, витая над деревней, легенда все больше и больше окутывала утес ореолом таинственности.

На самой вершине утеса из широкой, забитой землей расселины рос огромный, развесистый осокорь. Он был настолько могуч, что казалось, каменный утес не выдержит его тяжести и вот-вот развалится: настолько высок, что в ненастные дни тяжелые облака спускались ниже его ветвей. Может, поэтому в него ни разу не ударила молния. Только ветер отламывал иногда от него ветки и бросал в Светлиху.

Осокорь был виден за много километров. Солнце теперь освещало прежде всего верхушку дерева и уж потом начинало расцвечивать камни.

Люди удивлялись: почему осокорь вырос на самой вершине утеса, каким ветром и откуда принесло сюда его семечко? Ведь кроме берез да осин, в этих местах не растут лиственные деревья. И лишь немногие знали, что осокорь посажен был человеческой рукой.

Сейчас уж никто не помнит имен первых поселенцев Зеленого Дола и никто не знает их судьбы. Но лет за сорок до революции появился в деревне мужичонка с деревянной ногой — Авдей Меньшиков. Этого старожилы уже помнят.

«Хром ногой, да прям головой», — с завистью шептали о нем одни. «Нога у него деревянная, да руки железные, — с отчаянием говорили другие. — Схватит за горло — уж не отпустит».

Авдей Меньшиков действительно в скором времени взял всех за горло и держал намертво. Он отобрал

у прежних хозяев тучные покосы и лучшие земли. Больше полдеревни стало работать на него.

9

Авдей Меньшиков умер ровно за двадцать лет до революции. После него в деревне хозяйничал свирепый и своенравный, как дикая лошадь, Филька Меньшиков. У этого руки были уже не железными, а стальными. И, кроме того, у него, в отличие от родителя, было две ноги. Он так и говаривал:

— Батя все одной ногой давил вас, а я — обеими! Об-беими, понятно?

Понятнее было некуда.

Филька любил выпить. А выпив, ходил по деревне, останавливал встречного и поперечного, жаловался:

— Вот что я? Филипп Меньшиков. Помру я — что тогда? Ничего, останется мой брат, Демид Меньшиков. Понял? Сына бы, конечно, надо мне. А баба проклятая дочь народила, с-стерва... Натахой прозвали, Натальей, значит. Я предупреждал: «Девку принесешь — возьму тебя за ноги и надвое раздеру...» И раздеру! Понял? Я десять лет наследника ждал, а она — на тебе! Разродилась, называется...

Помолчав, Филипп обычно добавлял:

— А с другой стороны, дочь — она тоже хоть и баба вроде, да Меньшикова. Понял? И вечно мы будем на земле — Меньшиковы. Понял? Ну, дуй колесом, пока в рыло не сунул!

Особенно тяжело и безжалостно давил Филипп своих односельчан в годы мировой войны, наживая бешеные деньги на военных поставках зерна, мяса, кож. Он раздобыл, расплылся и по запустевшей без мужиков деревне ходил неторопливо, переваливаясь с боку на бок, как раскормленный селезень.

Все операции по поставкам Меньшиков производил через Парфена Сажина, богатого мужика-старовера с мохнатой, как овчина, шеей, жившего в волостном селе Озерки, что верстах в сорока за Светлихой.

Стояло душное лето пятнадцатого года.

Филипп Меньшиков и Парфен Сажин отмечали одно из своих многочисленных удачных дел.

За столом, кроме них, сидели еще Демид да Анисим Шатров, гуляка-парень лет двадцати пяти, сын зеленодольского мельника.

— Эх, Парфен, да мы с тобой... ить... — икал осоловевший вконец Филипп. — Токмо вот мужичишки бы с войны повозвертались! Не хватает рабочей силки. Н-да ништо, не всех перебьют, поди, там. Ух, уж развернись тогда!..

— Не шибко-то надейся, Авдеич, — хрипел в ответ Парфен. — Они, которые возвращаются... того, однако...

— Чего «того»?..

— Как бы там и не слез, где сесть хочешь. Вернулся один такой бывший работник ко мне... Я ему рупь за работу даю, он два требует. Я было горлом на него, а он костыль половчее берет...

— Хе! — воскликнул Филипп. — У меня не возьмет! У меня они все шелковые. По струнке ходят. И бывшие и настоящие. Н-нет, мой рупь они уважают! — распался Меньшиков все больше и больше. — Понял? Чего? Не веришь? А ну, айда!

— Филипп и Парфен вывалились на крыльцо, чуть не сломав перила. Возле конюшни высокий парень в черной рубахе навывпуск кидал навоз.

— Захарка! Подь сюда! — закричал Меньшиков.

Парень воткнул вилы в навозную кучу, отер пот с лица, подошел:

— Чего тебе?

На вид парню можно было дать года двадцать четыре, если не больше. Здоровый, крепкий, как лиственничный сутунок, он стоял, чуть пригнув голову, спокойно разглядывая Меньшикова и Сажина большими серыми глазами. Его широкие влажные скулы матово отсвечивали на солнце, капельки пота поблескивали

и в пробивающемся пушке над верхней, резко очерченной губой. Ветерок шевелил ворот расстегнутой рубахи, сушил мокрые, давно не стриженные, буйные волосы, закрывавшие половину лба.

На самом же деле Захару Большакову едва исполнилось двадцать. Он уже четвертый год жил у Меньшиковых в работниках.

— Ишь, устал гляделки! — нахмурился Филипп. — Чего, дурак, набылся?

Парень промолчал, только сунул руки в карманы измазанных навозом домотканых штанов да переступал с ноги на ногу.

— Прибавки к жалованью хочешь? — спросил Филипп.

— Кто ж не хочет.

— Ну, всем-то жирно будет. А тебе единовременно сейчас выдам. Ежели не упадешь, конечно.

Филипп сполз с крыльца, не спеша засучил рукава. Захар все так же спокойно наблюдал за ним, по-прежнему держа руки в карманах. Меньшиков качнулся и наотмашь ударил парня в лицо.

Голова Захара мотнулась, струйка крови разрезала надвое крутой подбородок. Но парень и теперь не вынул рук из карманов.

А Меньшиков, пьяно ухмыляясь, полез в карман за кошельком.

— Вот так, Парфен... Вот этак они мой рупь-то уважают. Сейчас, Захар, сейчас... На. Заработал — получи.

Захар вынул наконец руки из карманов, но вместо того, чтобы взять деньги, тяжело размахнулся и что есть силы звезданул своего хозяина в волосатую скулу. Пошатнулась под Меньшиковым земля. Филипп отлетел в сторону, грузно шмякнулся оземь, перевернулся несколько раз. Затем, лежа на спине, чуть приподнялся, заморгал удивленно, непонимающе.

А Захар, вытирая пропахший навозом кулак, сказал:

— Прости уж, платить нечем.

Со Светлихи с большим тазом выполосканного белья подошла Марья Воронова, поденщица Меньшиковых.

Высокого роста, с ясными глазами цвета вызревающей черемухи, с крутыми бровями и длинной, чуть не до колен, косой, Марья, по общему мнению зеленодольцев, была самой красивой девкой в деревне. Самой красивой девкой, но и самой старой невестой. Годы ее подходили к двадцати пяти, а она все еще не обзавелась семьей, по не понятной никому причине отказывая всем женихам. Потом причину узнали — сохнет Марья по мельникову сыну Анисиму.

Филипп давненько уже поглядывал на Марью мутным глазом. В последнее время, краснея и шмыгая носом, начал тереться, крутиться вокруг нее и Демидка. Однако ни тот, ни другой трогать ее не решались. Едва встречался ей кто-нибудь из них будто случайно, в глухом месте, Марья, гибкая и крепкая, точно отлитая из одного куска резины, ошпаривала их крутым, предостерегающим взглядом красивых глаз, чуть шевелила густыми бровями, и каждый из братьев поспешно убирался восвояси.

Она поставила таз с бельем на землю, поглядела на распластанного Филиппа, усмехнулась, показав белые зубы, и сказала:

— Я бы, Захар, уплатила за тебя ради такого случая. Да тоже не заработала.

И словно только теперь к Филиппу вернулся разум, и понял он, что произошло.

— Т-ты?! Кого эт-то ты?! — заорал он, вскакивая. — Демидка! Анисим! Парфен! Скрутить Захарку! Обломать ему кулачища-то...

Из дома выскочили Демид Меньшиков и Анисим Шатров. Не понимая, что произошло, они кинулись на помощь Парфену и Филиппу, крутившимся вокруг Захара Большакова.